

© 2020 г.

И.Т. КАСАВИН

НАУКА КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ

КАСАВИН Илья Теодорович – доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник и руководитель сектора Института философии РАН; заведующий кафедрой философии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия (itkasavin@gmail.com).

Аннотация. Ответ на вопрос о науке как политическом субъекте призван показать, насколько тематика философии науки и техники пересекается с философией политики, а современные исследования науки и техники (science and technology studies, STS) вписаны в актуальную повестку общественного дискурса о природе модерна и постмодерна, перспективах цивилизации, роли научно-технического развития, растущего влияния СМИ. Главная черта современности состоит в том, что наука и техника определяют точки роста во всех областях общественной жизни. Однако возникает вопрос: сделало ли это науку политическим субъектом? Были ли вообще такие прецеденты? И что такое политическая субъектность в применении к науке? Есть ли место политической субъектности в миссии ученого? Анализ проблемы политической субъектности науки начинается с уточнения самой постановки вопроса: что имеется в виду – политическая власть или власть знания? Далее определяются формы реализации этой субъектности в теоретической и практической деятельности ученых. Таким образом, предлагается некоторое общетеоретическое решение данной проблемы, а также его сопоставление с результатами ситуационных исследований участия ученых в решении социально значимых задач.

Ключевые слова: Фрэнсис Бэкон • научный метод • социальный институт науки • легитимация науки • постправда • политическая субъектность науки

DOI: 10.31857/S013216250009293-5

«Знание – сила»: к истории вопроса. Образ новой науки как социального института – важнейшая предпосылка методологического анализа знания в «Новом Органоне» Ф. Бэкона (1620). Подлинное содержание этого трактата проясняется лишь путем отсылки к другим произведениям английского мыслителя и к особенностям его биографии. Для Бэкона обоснование и распространение нового научного метода возможны только в форме особой культурной революции, а именно кампании по социальной легитимации науки как приоритетного социального института, создаваемого и поддерживаемого государством. Плодотворность бэконовских идей продемонстрирована историей возникновения европейских научных академий. В наши дни эти идеи обретают новое звучание в контексте этических и коммуникативных подходов к анализу науки, перестройки отношений между наукой и обществом, бытия науки как политического субъекта.

Современное общество нередко именуют «обществом знания» (knowledge society), имея в виду тотальное влияние науки и образования на социальные практики и технологии. Однако наряду с этим сегодня все большее внимание приковывают нечистые политико-информационные технологии «постправды» (post-truth), решающие поставленные перед ними задачи путем намеренного введения в заблуждение и прямой дезинформации. Приходится вновь и вновь вспоминать Дж. Оруэлла с его романом «1984». Так, для характеристики «идеологии двоемыслия» (doublethink) в обществе будущего как способности придерживаться двух противоположных убеждений одновременно он использовал лозунг «Незнание (невежество) – сила!» – ироническую инверсию известной фразы, приписываемой Ф. Бэкону.

Ф. Бэкон является наследником Платона и Аристотеля в их когнитивизме, т.е. в признании ведущей роли знания в человеке. Ему принадлежит фраза «Человек есть то, что он знает» [Bacon, 1904: 13]. Однако есть грустный парадокс в том, что мы вспоминаем об Оруэлле в четырехсотлетний юбилей «Нового Органона». На деле приписывание формулы «Sapientia potentia est» (или «Scientia est potentia») Ф. Бэкону есть действие в стиле постправды. Ведь в текстах самого Бэкона она в этом виде просто отсутствует. Так что задача критики «идолов разума» по-прежнему актуальна, ведь знание постоянно и целенаправленно искажается, переворачивается и неадекватно используется в целях достижения политического, экономического и культурного господства. Даже в самой науке широкое распространение получили «malpractice» (плохая практика) и «fraud science» (нечестная наука). Поэтому более глубокое понимание оригинальных формул «Sapientia potentia est» или «Scientia est potentia», кто бы ни был их автором, является настоящим требованием времени.

Историки установили, что формулы, аналогичные по смыслу лозунгу «Знание – сила», обнаруживаются в самых разных культурных источниках, как в западных, так и в восточных. В западноевропейской философской традиции она, по всей видимости, была запущена в оборот на английском Т. Гоббсом в «Левиафане» в 1651 г. и на латыни в 1668 г., хотя и отличается от классической формулировки. Что же касается Ф. Бэкона, то она встречается у него в другом виде и ином контексте. А именно, Бэкон рассуждает об атрибутах Бога в *Meditationes Sacrae* (1597), используя фразу: «scientia potestas est». И ее, вероятно, следует переводить как «знание есть Его сила», поскольку именно у божества знание и сила неразличимы и нераздельны как всеведение и всемогущество [Bacon, 1861: 95]. Что же касается человека, то, по мысли и Бэкона, и Гоббса, здесь все иначе: знание может стать силой, а сила может быть облагорожена знанием, но ради этого нужно потрудиться.

С. Фуллер привлекает внимание к тому, что ошибочное понимание тезиса «Знание – сила» в современных STS (исследованиях науки и техники) вытекает из присущей им профессиональной ценностной нейтральности, доминированию эмпирически-дескриптивистского подхода. По существу, забыт ее исходный просвещенческий смысл, согласно которому, чем больше мы знаем, тем меньше на нас влияют другие. И если наша сила растет, то лишь в смысле *potentia*, т.е. возможной деятельности. Рост знания делает нас более свободными, как раз ослабляя, а не усиливая связь между знанием и властью [Fuller, 2007: 211].

Это не единственная парадоксальная коннотация формулы «знание – сила». В известном метафизическом смысле расширение сферы знания расширяет и сферу нашего незнания, т.е. создает новые риски. «Обуздание знания» является поэтому известной религиозно-теологической стратегией, которая предостерегает от движения в неизвестном направлении. Не имея возможности тотально навязать свою волю в продвижении собственных проектов, консервативный лидер убеждает людей не противиться его воле, ибо нельзя сделать ничего иного без существенных рисков, а потому не стоит и пытаться («коней на переправе не меняют»).

С точки зрения такой интерпретации формула «знание – сила» оказывается не столько констатацией факта, сколько философским нормативным призывом. И ее нужно понимать как элемент масштабной кампании по пропаганде науки, которую Бэкон

разворачивал и в своих трудах, и в практической деятельности. Здесь наука еще не противостоит религии, но пока действует в унисон с ней. Познавая, человек приближается к Богу, никогда не достигая его бесконечного могущества. Лозунг «*Sola Scriptura*»¹ в протестантизме ограничивал адекватный доступ к Богу сообществом людей, читающих Библию. Знание, тем самым, является силой избранных, которые объединены некоторой общей программой. Вместе с тем в лице Бэкона мы впервые в истории встречаем понимание науки как нового глобального социального проекта. Вероятно, *главное открытие английского мыслителя* состояло в том, что *идея правильного научного метода нуждается в социальной легитимации и адекватной институционализации, невозможной без соответствующей государственной политики*. И одновременно практическая реализация предлагаемого им идеала науки с необходимостью вела к коренной перестройке всего общества. Последнему не предписывалось демократическое устройство, это, скорее, экспертократия, которая делится с обществом «плодоносными опытами», но «светоносные опыты» резервирует исключительно для себя.

И здесь Бэкон вновь опирается на античность, а именно на «Государство» Платона как проект «аристократии ученых-философов». Это заимствование было обязано общему итальянскому влиянию в Англии, начиная с XV в., когда возникла *Respublica literaria* – «Республика ученых», «республика наук» (эпистолярное сообщество итальянских ренессансных ученых XV в.). «Новая Атлантида» Ф. Бэкона оказалась явным отголоском «республики ученых», допускаям различные интерпретации. Так, проект Бэкона дал два ростка, практически продемонстрировавших два типа научной субъектности – Парижскую академию наук и Лондонское королевское общество. Французская наука подчинила свою субъектность государственным потребностям и превратилась в «инвалида» – «субъект с ограниченными возможностями», служанку государства. Она достигла своего апогея в науке Наполеоновской эпохи, решая проблемы милитаризации экономики. Ее общественное лицо было бледным, несмотря на практические достижения. «Республика не нуждается в ученых», – заявил председатель революционного трибунала Коффиналь в ответ на петицию в защиту Лавуазье. Британская наука шла иным путем. Фактически она дистанцировалась от общественно значимой проблематики вообще и стала «субъектом в себе и для себя» – «башней из слоновой кости». Но это только способствовало ее роли в промышленной революции и в завоевании Британией мирового господства в XIX в. Уже в то время наука стала превращаться в интернациональное предприятие под английским флагом.

Бэкон отчасти предвидел главную черту наступающего модерна, заключающуюся в том, что наука и основанная на ней техника выступают в роли «локомотива эпохи»: они революционным образом изменяют политику, экономику и культуру. Тезис К. Маркса «Революции – локомотивы истории» в полной мере относится и к научной революции Нового времени. В XIX в. «всеобщее общественное знание [Wissen, knowledge] превратилось в непосредственную производительную силу...» [Маркс, 1969: 127], по выражению К. Маркса. Это произошло в немалой степени и потому, что в свое время Бэкон провозгласил науку новым политическим субъектом, а его идеи обрели материальную форму в нововременных академиях наук.

В обществе постмодерна («информационном», «цифровом», «обществе знания») идеи Бэкона оказываются по-своему актуальными, конфигурируют новые дискуссии и вопросы [Stehr, Grundmann, 2011]. Что есть современная наука – башня из слоновой кости, республика ученых или коммерческое предприятие? Кто сегодня является главным оппонентом науки – государство, бизнес или церковь? Совместимы ли демократия и научное знание (высокая компетентность, expertise)? Наделила ли науку ее ведущая общественная роль особым политическим влиянием? Что такое политическая субъектность в применении к науке? Исчерпывается ли она влиянием на умы? И не является ли сегодня доступ к общественному сознанию самым главным каналом политической власти?

¹ Только Писание (лат.) – тезис Реформации, характеризующий отношение протестантов к Библии как единственному источнику вероучения. – Прим. ред.

Примечательно, что Бэкон словно предугадал многие из этих вопросов и уже предлагал ответы на них. Он, в частности, выделил явные преимущества науки: ее специфический интерес, особый метод и практическую эффективность. Переосмысливая идеи Бэкона сегодня, мы учитываем, что наука из утопии превратилась в реальность со всеми достоинствами и недостатками. Наука, претендуя на статус политического субъекта, может давать обществу позитивный моральный пример. Общество же, поддерживая науку, берет на себя контроль за ее соответствие ценностям гуманизма. Этот баланс столь же труднодостижим, как и идея бэконовской науки в его эпоху. И потому он вполне достоин статуса перспективного философского проекта.

Фауст и Фемида. В истоках естествознания Нового времени уже давно обнаружили гностические, герметические, каббалистические, магические, теологические идеи (Ф. Йейтс, А. Койре), дисциплинарную теологическую матрицу [Петров, 1991], ремесленные и производственные практики (В.И. Вернадский). В меньшей степени изучен вопрос о том, насколько Фемида может считаться матерью Фауста, т.е. какое влияние оказало европейское право на рождение экспериментальной науки.

Образ Фауста, известный еще из европейского Средневековья, символизирует фигуру ученого, мага, врача, который, впрочем, не столько апеллирует к сверхъестественным силам и жонглирует силлогизмами, сколько трудится в лаборатории. В этом его новизна и прогностическая сила применительно к научной революции XVII в. Именно экспериментальный метод рассматривается в это время как способ подчинить себе природные стихии. «Экспериментализм» [Косарева, 1997] выступил в качестве особого мировоззрения, убеждавшего человека в способности сделать знание производительной силой. Апелляция к эксперименту служила критике и отказу от схоластики.

Вместе с тем в эту эпоху доминирует иной тип мировоззрения, предоставлявший схоластическому дискурсу существенную поддержку. Речь идет о «юридическом мировоззрении», воплощенном в образе Фемиды – бесстрастного и объективного судьи. Ф. Энгельс называл юридическое мировоззрение «классическим мировоззрением буржуазии», которое приходит на смену теологическому мировоззрению средних веков [Энгельс, 1961: 496]. Есть основания полагать, что оно было распространено уже в эпоху Средневековья. Процессы ведьм и «суды любви» выступают типичными явлениями того времени, о которых упоминает Й. Хейзинга, наряду с многочисленными имущественными тяжбами – едва ли не основном способе приобретения состояния. «Всеобъемлющий формализм, – пишет Й. Хейзинга, – лежит... в основе веры в неукоснительное воздействие произнесенного слова, – что во всей своей полноте обнаруживается в примитивных культурах, а в позднем Средневековье проявляется в благословлениях, заговорах, в языке судопроизводства. Составленное по всей форме ходатайство содержит в себе нечто величественное, торжественно-настоятельное, вроде тех пожеланий, которые звучат в сказках» [Хейзинга, 1988: 263].

Заметим, что право в средневековой Европе представляло собой чрезвычайно сложный и запутанный конгломерат общих и частных законов, прецедентов, способов судопроизводства и правоприменения. В условиях феодальной раздробленности каждое небольшое государство изобретало свою правовую систему. В ней церковное право, элементы естественного и обычного права, привилегии и ордонансы правителей объединялись с фрагментами римских императорских конституций. При этом римское право отличалось рядом особенностей. Среди них высокая юридическая техника, детальная разработанность большинства сторон правовых отношений той эпохи, признание высшей ценности частных прав и личных интересов. Это обуславливало удобство применения римского права для регулирования новых общественных отношений. Рецепции римского права способствовало почтительное отношение культуры Средневековья к древности. Поэтому римское право, пережив множество перипетий в средневековой Европе, к концу XI в. окончательно утвердилось в качестве всеобщей философии и практики права – универсальной основы юридических решений. Неудивительно, что в средневековом университете факультет права принадлежал к трем высшим факультетам. Значительную долю

ученых людей составляли именно юристы, и юридическое мышление глубоко проникло в менталитет образованных сословий.

И здесь мы обнаруживаем, метафорически выражаясь, альянс Фауста и Фемиды. Оказывается, что «власть знания» несет в себе отчетливые юридические коннотации. Бэкон, рассматривая науку в качестве метода и института, подходит к ней как высокоученый юрист. Для него именно право выступает образцом для нового естествознания, а не теология, слишком тесно и содержательно связанная со схоластикой и мистикой, и не медицина – низкая наука. Научному методу предстоит усвоить принципиальный урок судебного исследования, судебного эксперимента и судебного решения.

Кстати, сама этимология терминов «эксперимент» (*experiri*, «испробовать, испытывать», «судиться») и «объект» (*obiectus* – «обвинение») отсылает к юриспруденции. Зачастую эксперимент, в котором ученый усматривает беспристрастное доказательство своей правоты, полученное из уст самой природы, на деле оказывается вырванным под пытками признанием (не обязательно ложным, но отнюдь не добровольным). «Невозможно, описав, как даже в самом банальном эксперименте осуществляется научная ордалия истины, и далее опираться на господствующую идею о том, что науки чисты, объективны, беспристрастны, дистанцированы», – пишет Б. Латур в работе «Научные объекты и правовая объективность» [Латур, 2011: 78]. Он проводит сравнение между работой судебных органов и научных лабораторий, и ученые в таком описании являются, конечно, не судьями, а истцами, подающими на вещь «жалобу», требующую рассказать о себе нечто, что им представляется необходимым. Объект в этом контексте становится одновременно жертвой допроса, но в то же время и судьей, ведь именно «он выносит заключения по поводу сказанного о нем» [там же: 78]. Е.А. Мамчур также присоединяется к мнению о том, что понятие объективности в науке происходит из судебной практики, буквально цитируя Латура: «Многие характеристики, обычно приписываемые ученым, на самом деле срисованы с микропроцедур, разработанных юристами с целью создания этоса незаинтересованного стороннего наблюдателя. Равнодушие к итоговому результату, дистанция между разумом и объектом, хладнокровная строгость суждений – одним словом, все, что у нас ассоциируется с объективностью, является неотъемлемой частью не лабораторных исследований, а судебных процедур» [Мамчур, 2008: 88].

Компаративный экскурс Латура заканчивается, впрочем, банальной филиппикой против социального конструктивизма и заключением, что ученые не должны выносить окончательный вердикт, а судьи – апеллировать к истине. Этот нормативный призыв несколько диссонирует с его же отказом видеть в эпистемологии какую-то пользу для науки; возможно, его мнение о социологии несколько иное. Однако главное Латур сделал, показав многочисленные пересечения между лабораторной наукой и правовой практикой. При всем их различии в естественнонаучном знании воспроизводится такая изначальная черта юридической науки и гуманитаристики в целом как интерпретативная работа с текстами. В научном эксперименте наследуется практика «испытания», распространяемая на природу. В обсуждении научных проблем используется метод доказательства, во многом заимствованный из судебного разбирательства. И если право в эпоху ранних буржуазных революций уже мыслилось как основа государства, то наука, предписывая законы природе, рассматривалась в качестве космической конституции. И потому Ф. Бэкон приходит к мысли о том, что науке как делу исключительной важности суждено покончить с любительством и превратиться в государственный институт. Более того, предстоит сделать науку мотором государственной машины, обладающей всей полнотой власти. Однако бэконовский проект реализовался лишь частично: наука не стала во главе государства. Более того, оказалось, что научная и политическая деятельность в «обществе профессий» практически исключают друг друга: лишь профессионалы имеют общественную ценность, пользуются престижем и добиваются власти. Значит ли это, что власть знания ограничена лишь самой сферой знания и дает социальный эффект только через посредников, путем воплощения в технологии разного рода?

STS против постправды. Наука породила во второй половине XIX в. своеобразный «защитный пояс» – историю и философию науки, призванную популяризировать достижения, улучшать общественный имидж и доказывать особый эпистемический статус научной профессии. Столетием позже эту роль перехватили междисциплинарные исследования науки и техники (science and technology studies, STS). Довольно быстро их представители осознали и проявили свою силу в современном «обществе знания», затеяв «научные войны», заострив дискуссии о постмодернизме, пост- и трансгуманизме и включившись в полноформатную политическую повестку. В последние годы STS все активнее претендует на то, чтобы осуществлять социально-гуманитарную экспертизу, т.е. быть выразителем мнения ученых и науки в целом по всем наиболее актуальным общественным вопросам. Заметна не только оппозиция STS по отношению к государству и бизнесу, но и стремление перехватить роль СМИ в создании и обыгрывании информационных поводов самого широкого спектра.

В частности, философы, социологи, политологи, занятые в STS, выступили против социального конструирования лжи и невежества в массовом сознании – того, что получило название уже упомянутой постправды (post-truth) [Sismondo, 2017; Collins, 2017]. Они проблематизировали ситуацию демократического общества, в котором обеспечивается свобода слова, но одновременно возникает риск смешивания и уравнивания постправды и квалифицированного научного знания. В этих условиях эксперты обязаны демонстрировать свою компетентность в публичном пространстве и даже заниматься научным активизмом. В особенности такая необходимость возникает тогда, когда политики и бизнесмены пытаются снизить авторитет науки для достижения своих корыстных целей и обращаются к самой наукой в стиле постправды, используя весьма утонченные приемы.

Примерами могут служить наиболее острые общественные дискуссии с привлечением ученых. Таковы дебаты о вреде табакокурения и влияния его на рост числа онкологических заболеваний. Здесь же и критика крупной фарминдустрии, создающей неэффективные и вредные лекарства на монополистической основе; отрицание антропогенных изменений климата и необходимости соответствующей модернизации промышленности; критика экологических последствий нефтедобычи и др. Во всех этих спорах принимает участие большое количество научных экспертов; они всесторонне рассматривают данные проблемы на основе имеющихся фактов и принятых теорий. Неудивительно, что научные дискуссии часто приводят к столкновению мнений и не всегда завершаются принятием консолидированной точки зрения.

Например, имеются убедительные теоретические обоснования вреда табакокурения для здоровья. Существует также достоверная статистика эмпирических данных в отношении интенсивного табакокурения, провоцирующего заболевания (от одной пачки сигарет в сутки). Однако данные по более умеренному курению не дают оснований для однозначных выводов, поскольку нарастает конкурирующее влияние иных болезнетворных факторов. Далее, имеются точные данные по влиянию на здоровье курения дешевых сигарет, но в отношении наиболее дорогих сортов табака такая статистика недостаточна. В этих и аналогичных случаях политики и бизнесмены используют высокие эпистемические критерии, отстаиваемые учеными, против самой науки. А именно, любое расхождение во мнениях среди экспертов трактуется как решающее свидетельство против научного консенсуса и валидности науки в целом.

Впрочем, целый ряд известных ученых в области STS проявляют поистине бойцовские качества. Так, Скотт ПрUIT, глава Американского Агентства по защите окружающей среды, отказывается признавать антропогенные изменения климата, выдвигая известный методологический аргумент – корреляция не означает причинности. Однако софизм такой аргументации проясняется Наоми Орескес, известным американским ученым и публицистом: как скоро даже 5%-ная вероятность негативного сценария способна привести к катастрофе, даже минимальные риски становятся чрезмерными².

²Oreskes N. Playing Dumb on Climate Change // The New York Times. Sunday Review. 2015. January 3. URL: http://www.nytimes.com/2015/01/04/sunday/playing-dumb-on-climate-change.html?_r=0 (дата обращения: 20.03.2020).

Далее, Джим О'Нейл из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предлагает проверять медицинские препараты только по соображениям безопасности, а не эффективности. Но можно ли судить о безопасности токсичных веществ без какой-либо ссылки на их эффективность? Зачем нужны лекарства, содержащие сильнодействующие и опасные для здоровья вещества, если не доказан их положительный эффект? Если такая политика будет введена в действие, это равносильно простому отказу от большей части научного знания, воплощенного в работе этого управления и его процедурах. Все будет предоставлено на усмотрение врачей и их пациентов. Эти критические аргументы выдвигает главный редактор влиятельного журнала "Social Studies of Science", канадский исследователь Серджио Сисмондо [Sismondo, 2017].

В России государственный Роспотребнадзор также не требует соблюдения стандартов качества продуктов питания, ограничиваясь требованием безопасности. Это означает, что в продукте может быть минимум полезных веществ наряду с целлюлозным наполнителем. Предполагается, что рынок должен самостоятельно отделить более качественные от менее качественных продуктов в результате свободной конкуренции и деятельности независимых экспертных организаций типа Росконтроля качества продуктов. К сожалению, эта ситуация еще не стала предметом критики российских социологов науки.

Наконец, вот пример из области, на первый взгляд еще менее связанной с STS, однако именно поэтому он относится к особо показательным. После избрания Д. Трампа президентом США многие ученые испытали сильнейший шок, поскольку восприняли эту ситуацию как кризис не только демократии, но и рационального взгляда на мир. Тогда группы специалистов по STS в ведущих американских и канадских университетах (Гарвард, Принстон, Корнелл, Торонто и др.) выдвинули программу постоянной критики существующей власти и, в частности, контроля государственных структур в части соответствия их обещаний и решений последующим результатам. Программа получила название «Первые сто дней. Нарративы о нормализации и крахе» ("First 100 Days. Narratives on Normalization and Disruption"). Поскольку от администрации Трампа ожидали постоянного обмана, одной из задач программы стало архивирование государственных документов открытого доступа, которые позднее могут стать недоступными. Такой метод избрали ученые для борьбы с политикой постправды, и здесь наука выходит за собственные пределы, поднимая вопросы всеобщей социальной значимости и развенчивая популистские и контрнаучные инвективы политиков. «Говоря кратко, язвительные высказывания о знании являются частью патологии существующей власти. Мы должны преодолеть это. В условиях хрупкого консенсуса истеблишмента правительства падают ниц перед финансовыми ограничениями; в тупике и бесправии, целые группы населения выброшены за ворота, скованы и опустошены глобальной модернизацией; глобальные средства массовой информации вправе спросить, как долго центр будет держаться и является ли послевоенная система устойчивой. Не время беспокоиться о месте науки в политике. Пришло время для покоя о политических, экономических и этических основах нашего общества», – так заявляет профессор и один из руководителей Гарвардской школы права Дэвид Кеннеди³.

И далее он критически замечает, что знание и наука могут играть разные роли и заслуживают оценки в зависимости от этого. Так, претензии на знание (опора на факты, научные теории и т.п.), объединенные с политической властью, аналогичны претензии на этические универсалии и потому подвержены тем же деформациям. Тем самым Кеннеди фактически призывает ученых не сотрудничать с недостойными политиками и не давать им одурачивать избирателей с помощью ученых. И одновременно он указывает на то, что моральное влияние науки на общество будет значительно весомее, если ученые обратят

³ Kennedy D. It's not about Facts. It's about Politics // First 100 Days: Narratives of Normalization and Disruption. 2017. May 11. URL: <http://first100days.stsprogram.org/2017/05/11/its-not-about-facts-its-about-politics/> (дата обращения: 21.02.2020).

внимание на социальные проблемы и будут меньше заниматься отстаиванием своего особого места в обществе.

По этому пути пошли сторонники еще одной программы критики политики постправды. Она получила название «агнотологии» (agnotology, от *agnosis*, «незнание»). Термин был предложен Р. Проктором, профессором Стэнфорда в его книге «Война против рака: как политика определяет то, что мы знаем и не знаем о раке» (1995). Материалом его исследований служит политика и пропаганда крупных табачных концернов, замалчивающих и искажающих данные о безвредном влиянии табакокурения. Проктор делает из этого эпистемологические выводы, указывая, что незнание и невежество не тождественны пустому пространству, в которое как бы всасывается знание. Невежество – значительно более сложный феномен, который призваны внимательно изучать специалисты в области STS. Он возникает и распространяется в силу определенной политики знания. Важным дополнением политической эпистемологии могла бы быть политическая агнотология как исследование невежества, позволяющее лучше понять коммерциализацию науки [Proctor, 2008: 1–33].

О том, что представляет собой политика и идеология постправды в общем виде, последнее время пишут многие, например английский философ и социолог С. Фуллер [Fuller, 2018]. Попробуем дать лапидарное определение постправды, достаточное для наших задач в данной статье. Мы будем называть постправдой *стратегию простых решений трудных проблем, риторически искажающую свои реальные предпосылки и вероятные последствия*.

Примером политики постправды является борьба с экологической проблемой путем давления на промышленные производства и человеческое потребление. Она убеждает в необходимости запрета атомных электростанций, отказа от биотехнологий, продвижении тотального вегетарианства и ограничений потребления вообще. Вместо аргументации в пользу разумной и постепенной перестройки структуры производства и потребления на деле часто продвигаются иные промышленные конкуренты, извлекающие повышенную прибыль из неэффективных и дорогих технологий, которые доступны далеко не всем.

В качестве еще одного примера может служить борьба с бедностью путем прямых дотаций населению за счет повышения налогов. Это популистская мера, предлагающая, как говорится, рыбу вместо удочки и закрепляющая зависимость населения от власти. Здесь же и борьба с преступностью путем смертной казни, когда вместо преодоления социальных причин преступности борются с их следствиями; поиск «козла отпущения» среди сексуальных и национальных меньшинств и т.п. Социальной базой постправды является группа населения, особенно восприимчивая к популистским лозунгам. Опираясь на нее, политика популизма надевает маску эгалитаризма и антиэлитизма, но на деле она представляет собой атаку на политическую оппозицию и ведет к авторитаризму.

Примечательно, что постправда опирается также на популярные образы науки, которые отчасти схватывают ее реальную амбивалентность. Так, достаточно трудно разобиться в том, что представляет собой экспертное знание ученых. С одной стороны, оно выглядит и даже нередко работает как приоритетный источник принятия политических решений, как элемент доминанции науки над обыденным сознанием, инструмент элитарной власти в интересах заказчика – политиков и бизнесменов. С другой стороны, значительная часть населения, получившая высшее образование, воспринимает экспертное знание как элемент общего распределенного знания. У ученых нет монополии на это знание, поскольку оно понятно другим и открыто для критики. Совокупное общественное знание вырабатывается, тем самым, в кооперации ученых и неученых в рамках коллективных процедур (публичных слушаний, обсуждений в СМИ, гражданских инициатив, фокус-групп и пр.).

Далее, предметом спекуляций в стиле постправды является образ человека науки, отличающийся явной неоднозначностью. Особый эпистемический статус науки требует рассматривать ученого как эксперта – генератора и распространителя особого типа знания, характеризуемого объективностью и истинностью. Такой образ ученого включает в себя властный элемент. Однако его статус немедленно снижается, коль скоро наука как

социальный институт является сферой общественного производства, а ученый – работник интеллектуального труда, получающий оплату за производимые им товары и услуги. Ученые предстают в таком случае как эксплуатируемая и зависимая социальная группа, как бы берущая средства производства (лаборатории, библиотеки и пр.) в аренду у собственника (государства или частного бизнеса). И вместе с тем ученый не до конца утратил фаустовский образ мага – человека, которому открыты тайны природы, который повелевает стихиями. Неисчерпаемые тайны мироздания и человеческой психики питают мифо-магическое представление об ученом-демиурге, создающем удивительные технологии, несущие в себе как благополучие, так и риски. Амбивалентный образ ученого, в котором смешаны господин, раб и шаман, власть, подчинение и тайна, используется политикой постправды в целях снижения доверия к науке.

Ученые – лидеры мнений и агенты влияния. В действительности же наука – самый решительный противник политики и идеологии постправды, в борьбе с которой и формируется ее субъектность. Однако для понимания науки как политического субъекта нужно внести ясность в концептуализацию политической субъектности вообще. С нашей точки зрения, она включает комбинацию трех элементов: особый независимый интерес, общественное доверие и власть по отношению к некоторому сегменту реальности. И все же здесь возникает ряд вопросов.

Политическая власть, как правило, отождествляется с государственной властью. В таком случае с точки зрения разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную все они должны обладать политической властью. Однако это приводит к противоречиям, если ставить, к примеру, вопрос о политической власти Центрального банка. Нет также ясного ответа на вопрос, являются ли политическими субъектами Конституционный суд, банковские и промышленные ассоциации, некоммерческие организации и СМИ. Ведь есть закон об иностранных агентах, относящийся к НКО, т.е. за некоммерческими организациями де-факто признается потенциал политического субъекта. Сошлемся на известную метафору: СМИ постоянно именуются «четвертой властью». Конечно, это относится к независимым СМИ, но в таком случае это коммерческие структуры, приносящие высокую прибыль благодаря своей способности демонстрировать политическую субъектность. Политические коннотации свойственны и науке, если ее называют «арийской» или «исламской», требуют от нее защиты «национальных интересов» или обвиняют в политическом комформизме. П. Фейерабенд писал, что в свободном обществе все традиции имеют равные права и одинаковый доступ к центрам власти. При этом демократия предполагает конкуренцию, а поэтому наука, если хочет быть субъектом, должна отстаивать право на независимый интерес, бороться за общественное доверие и тем самым за власть – над умами, как минимум, а также, по возможности, за определенное место в системе собственно политической власти.

Формирование самостоятельной научно-политической субъектности стартовало, по всей видимости, только в XX в. Наука, созревшая на атомных и космических мегапроектах, становится реальной общественной силой с определенной степенью независимости, доверия и власти. Государство, как и прежде, стремится ее использовать, но уже не в состоянии добиться полного подчинения. Назовем лишь некоторые ключевые сигналы такой субъектности. Так, немецкие физики в немалой степени бойкотировали изобретение атомной бомбы при нацистском режиме. Преследование и осуждение Р. Оппенгеймера в эпоху маккартизма (1954) спровоцировали массовый уход физиков из военных лабораторий. В 1950-е гг. свое влияние ученые продемонстрировали при разрешении Карибского кризиса и создании Пагоушского движения. Римский клуб, основанный учеными в 1968 г., обозначил глобальные проблемы современности и необходимость их решения. Именно ученые настояли на запрете клонирования человека (Россия присоединилась к нему в 2002 г.).

Отдельную историю представляет недавняя реформа РАН. Исследование «Ромир» в 2013 г. показало, что по индексу доверия социальным институтам в России лидирует РАН⁴. Поэтому реформирование РАН в 2013 г. может быть интерпретировано как способ лишить науку самостоятельности, доверия и власти. В ходе реформы на полную мощность была запущена политика постправды – фабрикация фейковых обвинений в адрес РАН, спекулирующих на ложном истолковании ряда фактов. Объективные трудности бытия науки в современном российском обществе и отдельные упущения в работе РАН были представлены как свидетельства ее тотальной неэффективности и коррумпированности. Однако на волне реформы произошла консолидация значительного количества ученых, был создан ряд общественных движений, независимых профсоюзов в области науки и образования, началось выдвижение петиций в защиту науки и демократии, а также активизация иных форм протестного движения.

А.А. Антоновский и Р.Э. Бараш, анализируя практики научного активизма в России, выделяют три его основных типа. Во-первых, это интерактивно-ориентированный тип, которому свойственно отсутствие жестких организационных структур (например, «Клуб 1 июля», Общество научных работников). В качестве второго типа указываются, напротив, жесткие и консервативные организации с правилами членства (профсоюзы организаций РАН и других научно-образовательных учреждений). Наконец, «самой продвинутой формой радикализма в науке являются системно-интегрированные формы протеста, прежде всего на уровне коммуникативной системы масс-медиа (телевидение, интернет-вещание, газета), к которым можно отнести газету «Троицкий вариант», и наконец, социально-сетевой тип научного протеста – сообщество «Диссернет»» [Антоновский, Бараш, 2018: 26]. Вероятно, практика «открытых писем» широких кругов интеллигенции, во многом инициированная именно учеными, также является особой формой социального протеста и проявления политического самосознания науки.

Каковы же теоретические аргументы в пользу политической субъектности науки? Во-первых, это ее особенный объектный, «незаинтересованный интерес» к новому и истинному знанию: она стремится представить некоторое положение дел так, как оно есть в действительности, т.е. независимо от всяких иных интересов. Во-вторых, наука предлагает особый метод, т.е. организацию деятельности по критериям рациональности (продуманности, целесообразности и системности). Данный метод прозрачен, он гарантирует доверие к получаемому знанию, поскольку всегда может и должен быть направлен на саму науку, на ее критическую оценку. В-третьих, наука обещает практическую эффективность научно обеспеченных решений, т.е. увеличивает реальную власть человека. Более того, она делает это практически бескорыстно, поскольку затраты на науку во много раз ниже извлекаемых из нее прибылей.

На политическую субъектность может претендовать научное сообщество. Им не исчерпывается современная наука как социальный институт, который приобрел во второй половине XX в. распределенный характер. Он включает государственные и частные исследовательские лаборатории, институты и университеты, а также и другие организационные формы. Это аналитико-информационные центры, экспертные советы при президенте, парламенте, судах, министерствах и ведомствах; отдельные министерства и ведомства (министерство науки и образования, государственный комитет по науке и технике); научные советы при крупных корпорациях. С этой точки зрения, по факту, наука в целом не является целостным, властным, а потому и политическим субъектом вообще, не представляет собой скоординированной системы коммуникации и субординации. Лишь отдельные и достаточно влиятельные элементы науки могут претендовать на политические роли. Может ли наука в таком случае достичь политического успеха?

Смоделируем два полярных варианта, основанных на идее «открытой науки» К. Поппера и концепции «закрытой науки» Т. Куна соответственно. В первом из них ученые,

⁴Россияне рассказали, доверяют ли они социальным институтам // РОМИР. 2013. 12 марта. URL: <https://romir.ru/studies/cerkvi-doverayut-nauku---uvajayut> (дата обращения: 22.03.2020).

следуя нормам научного этоса и видя в науке фактор общественного блага, создают интеллектуальную и моральную атмосферу, способствующую делиберативной демократии и развитию личности. Со своей стороны, государство начинает проводить просветительную политику в отношении науки и политику вообще, противостоящую популизму, технократизму и безоглядной коммерциализации. Государство считается с наукой, а люди дарят ей доверие и уважение. Наука способствует техническому и общественному прогрессу, а общество руководствуется ценностями рационального гуманизма. Однако не все ученые могут соответствовать такой высокой планке. Поэтому научное сообщество резко сужается, большая часть ученых меняет сферу деятельности, а другая становится элитным клубом, который не справляется с взятыми на себя обязательствами.

Во втором варианте политическая элита ставит на первый план снижение издержек производства, оптимизацию социальных обязательств и удержание власти любым способом. Тогда она начинает использовать науку и технику для решения этих задач, а ученые рискуют превратиться в замкнутую касту экспертов, готовых к самосохранению в ущерб правам личности и интересам общества. Технократия упрочивает свою власть со ссылкой на науку и выстраивает общество по лекалам парадигмальных теорий. В этом случае научное сообщество раскалывается – одна часть начинает играть на стороне популизма, технократизма и коммерциализации, а другая – на стороне радикальных политических движений. В результате назревает политический кризис, что приводит к краху науки и обострению глобальных проблем.

Если эти два варианта развития науки правдоподобны, то статус политического субъекта достигается наукой лишь в меру того, как складываются отношения между другими политическими акторами. Взаимовыгодный баланс науки, государства и бизнеса, на первый взгляд, выделяет для науки нишу политического влияния. Однако на деле такой альянс делает политическую функцию избыточной для науки, и она приобретает индифферентность к политике. И напротив, отсутствие сбалансированного существования вынуждает науку к постановке политических требований. Ведь власть никогда не дает добровольно, за нее нужно бороться. И потому на вопрос: «Является ли наука политическим субъектом?» можно дать два разных ответа. Первый из них – дескриптивный – оказывается отрицательным. По факту наука не достигла статуса реального политического субъекта, хотя и может демонстрировать такое влияние в отдельных случаях. Второй ответ касается перспектив науки и имеет нормативный характер по образцу известного изречения Козьмы Прутова: «Если хочешь быть политическим субъектом, будь им!»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бараш Р.Э., Антоновский А.Ю. Радикальная наука. Способны ли ученые на общественный протест? // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55. № 2. С. 18–33.
- Латур Б. Научные объекты и правовая объективность // Культиватор. 2011. № 2. С. 74–94.
- Матчур Е.А. Образы науки в современной культуре. М.: Канон+, 2008.
- Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов (первоначальный вариант «Капитала») // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. II. М.: Полит. лит-ра, 1969.
- Петров М.К. Язык. Знак. Культура. М.: Наука, 1991.
- Хейзинга Й. Осень Средневековья. М.: Наука, 1988.
- Энгельс Ф. Юридический социализм // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. М.: Полит. лит-ра, 1961. С. 495–516.
- Bacon F. Works of Bacon. Vol. XIV. Boston: Brown and Taggard, 1861. P. 94–95.
- Bacon F. Of Tribute, or Giving What is Due // Northumberland Manuscripts. Part I. Transcribed and edited with notes and introduction by Frank J. Burgoyne, Librarian of the Lambeth Public Libraries. London; New York; Bombay: Longmans, Green, and Co. 1904. P. 1–27.
- Collins H., Evans R., Weinle M. STS as Science or Politics? // Social Studies of Science. 2017. Vol. 47. No. 4. P. 580–586.
- Fuller S. New Frontiers in Science and Technology Studies. Cambridge: Polity, 2007.
- Fuller S. Post-Truth: Knowledge as a Power Game. London: Anthem, 2018.
- Marx K. Grundrisse. London: Penguin Books, 1973.

- Proctor R. Agnotology: A Missing Term to Describe the Cultural Production of Ignorance (and its Study) // Proctor R., Schiebinger L. (eds) *Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2008. P. 1–33.
- Sismondo S. Post-Truth? // *Social Studies of Science*. 2017. Vol. 47. No. 1. P. 3–6.
- Stehr N., Grundmann R. *Experts: The Knowledge and Power of Expertise*. London: Routledge, 2011.

Статья поступила: 30.03.20. Принята к публикации: 05.05.20.

SCIENCE AS A POLITICAL AGENT

KASAVIN I.T.

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia

Ilya T. KASAVIN, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Correspondent Fellow of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department of Philosophy, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod; Leading Researcher, Department Head, Institute of Philosophy of RAS, Nizhni Novgorod, Russia (itkasavin@gmail.com).

Acknowledgements. The research is performed within the grant of Russian Science Foundation, No. 19-18-00494 "The Mission of a Scientist in the Modern World: Science as a Profession and a Vocation".

Abstract. The answer to the question of science as a political agent intends to show how philosophy of science and technology intersects with political philosophy, and science and technology studies (STS) intervene into the public discourse agenda on the nature of modernity and post-modernity, the prospects of civilization, the role of scientific and technological development, the growing influence of the media. The main feature of modernity is that science and technology define points of growth in all areas of public life. However, the question arises: does this make science a political agent? Were there any such precedents at all? And what is political agency in terms of science? Is there a place for political agency in the mission of the scientist? The analysis of the problem begins with the clarification of its meaning: either we mean political power or the power of knowledge? Further, the forms of implementation of this agency in theoretical and practical activity of scientists are traced. Thus, the article proposes a general theoretical solution to this problem as well as its illustration in scientists' participation by the resolution of socially significant problems.

Keywords: Francis Bacon, scientific method, social institute of science, legitimization of science, post-truth, political agency of science.

REFERENCES

- Bacon F. (1861) *The Works of F. Bacon*. Vol. XIV. Boston: Brown and Taggard: 94–95.
- Bacon F. (1904) Of Tribute, or Giving What is Due. In: *Northumberland Manuscripts*. Part I. Transcribed and edited with notes and introduction by Frank J. Burgoyne, Librarian of the Lambeth Public Libraries. London; New York; Bombay: Longmans, Green, and Co: 1–27.
- Barash R.E., Antonovski A.Ju. (2018) Radical Science. Are the Scientists Capable of Social Protest? *Epistemologiya i filosofiya nauki* [Epistemology & Philosophy of Science]. Vol. 55. No. 2: 18–33. (In Russ.)
- Collins H., Evans R., Weinel M. (2017) STS as Science or Politics? *Social Studies of Science*. Vol. 47. No. 4: 580–586.
- Engels F. (1961) The Legal Socialism. In: Marx K., Engels F. *Collected Works*. 2nd ed. Vol. 21. Moscow: Polit. lit-ra: 495–516. (In Russ.)
- Fuller S. (2007) *New Frontiers in Science and Technology Studies*. Cambridge: Polity.
- Huizinga J. (1988) *The Autumn of the Middle Ages*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Latour B. (2011) Scientific Objects and Legal Objectivity. *Kul'tivator* [Cultivator]. No. 2: 74–94. (In Russ.)
- Mamchur E.A. (2008) *Images of Science in the Modern Culture*. Moscow: Canon+. (In Russ.)
- Marx K. (1969) Economic Manuscripts of 1857–1859 (First Version of "Capital"). In: Marx K., Engels F. *Collected Works*. 2nd ed. Vol. 46. Part II. Moscow: Polit. lit-ra. (In Russ.)
- Marx K. (1973) *Grundrisse*. London: Penguin Books.
- Petrov M.K. (1991) *Language. Sign. Culture*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Proctor R. (2008) Agnotology: A Missing Term to Describe the Cultural Production of Ignorance (and its Study). In: Proctor R., Schiebinger L. (eds) *Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance*. Stanford, CA: Stanford University Press: 1–33.
- Sismondo S. (2017) Post-Truth? *Social Studies of Science*. Vol. 47. No. 1: 3–6.
- Stehr N., Grundmann R. (2011) *Experts: The Knowledge and Power of Expertise*. London: Routledge.

Received: 30.03.20. Accepted: 05.05.20.